

А. Ф. КОНИ

ДЕЛО ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 34(470)(091)
ББК 67.3
К64

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Дизайн обложки *В. Воронина*

Кони, Анатолий Федорович.
К64 Дело Веры Засулич / Анатолий Федорович
Кони. — Москва : Издательство АСТ, 2026. —
416 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-185808-7

Дело Веры Засулич — один из самых громких и резонансных судебных процессов в истории Российской империи. В 1878 году молодая революционерка совершила покушение на петербургского градоначальника, приказавшего высечь политического заключенного. Этот выстрел разделил мнения российского общества, а последовавший за ним оправдательный приговор суда присяжных стал настоящей сенсацией.

Воспоминания о деле Веры Засулич — это не просто хроника судебного процесса, а живое свидетельство эпохи, написанное человеком, находившимся в центре событий. Анатолий Кони честно и без прикрас рассказывает о том, как присяжные пришли к оправдательному вердикту и какую цену пришлось заплатить за этот выбор, раскрывает все тонкости дела: мотивы Засулич, настроения присяжных, давление со стороны властей и его собственные сомнения как судьи.

УДК 34(470)(091)
ББК 67.3

ISBN 978-5-17-185808-7

© ООО «Издательство АСТ», 2026

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЛЕ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

Глубокий возраст, принося свои тягости, вместе с тем дает то преимущество, которое достигается во время путешествий восхождением на большую горную высоту, а теперь, вероятно, дается поднятием на аэроплане; там горизонт перед взором расширяется настолько, что вдруг вместо уголка известной местности она становится видной вся, и то, что оставалось в тени и представлялось навсегда лишенным солнца, оказывается закрытым от его лучей лишь временным туманом.

Целые десятилетия жизни некоторых современников прошли перед глазами, но лишь в совокупности утро, полдень и вечер их жизни рисуют верный образ каждого из них. И приходится видеть иногда, как точно туча закрывала от взора того или другого все единственное ценное, вечное и возвышенное, ради чего стоит жить и бороться, что является самым источником жизни! И если бы не дожить еще десяток лет, фигура оцениваемого человека, о котором записаны воспоминания, явилась бы нарисованной иначе. Таков граф Пален, о котором я пишу особо в послесловии. То же можно сказать и об условиях, окружаю-

щих человека. Исторические личности, вырванные из общего уклада своего времени, представляются совсем иными тем читателям, которые не сообразуются с мирозерцанием эпохи, в которой они жили, оценивая их действия отдельно от него. Так, Петр I, с нашей точки зрения, представляется олицетворением жестокости, но по сравнению со своей эпохой он в этом отношении таков, как все, и даже в Западной Европе.

Многие могут проверить этот взгляд на себе, вспомнив себя (и окружающих) до Германской войны и во время нее. До войны гибель «Титаника» вызывала общий ужас многочисленностью своих жертв; повешение главарей шайки рецидивистов-конокрадов, как саранча опустошавших крестьянские хозяйства в Харьковской губернии, вызывало бессонную ночь и душевные терзания у всех, кого нельзя было назвать «мертвые души». А затем во время войны на нас наросли душевные мозоли, и тот, кто, не пережив всего пережитого, прочел бы почти спокойные сообщения друг другу о гибели целых десятков тысяч человек, мог бы сказать, что в наше время не осталось более не «мертвых душ» среди живых людей.

Важно, чтобы читающий записку мог установить в себе угол зрения того времени, понять взгляды той эпохи.

Нельзя не согласиться с французским историком *Gabriel Hannoto* (в своей книге «*L'Histoire et les Historiens*») в том, что миссия истории состоит в собирании плодов с векового опыта и в передаче достижений человечества из поколения в поколение. Вот почему, смотря с этой точки зрения на мемуары и записки прошлого, я печатаю то, что написано мною 45 лет

назад, не изменяя ни одного слова. Читая записку о деле Засулич, надо стать на точку зрения людей того времени. Это — подлинные переживания тогдашнего председателя окружного суда (семидесятых годов), которому было в то время около 35 лет, который был во всеоружии всех своих душевных сил и макал перо не в чернило, а в сок своих нервов и кровь своего впоследствии больного сердца, чтобы запечатлеть на бумаге то, что, казалось ему, вписывается как начало новой страницы ее истории в жизнь России.

Этот документ был передан мною в Академию наук для опубликования через 50 лет после моей смерти. Но шаги истории в дни моей старости стали поспешнее, чем можно было это предвидеть, и в лихорадочном стремлении сломать старое ее деятели, быть может, скорее, чем я мог предполагать, будут нуждаться в справках о прошлом ради знакомства с опытом или ради понятной любознательности. Вот почему я не считаю себя вправе поддаваться желанию кое-что смягчить, кое из чего сделать в ней же выводы. Я не меняю ни одного слова, написанного 45 лет назад, а беседы, встречи и отношения с некоторыми из названных мною лиц описываю в послесловии и надеюсь, что читатель сделает из него запрашивающийся сам собою вывод.

Многие лишь в конце жизни бесплодно относительно всех, в ком вызывали они горькие слезы, раскаялись в том, что не воспользовались тою счастливою возможностью, когда могли бы их не вызывать, а «утереть». Но они раскаялись или выстрадали сами те страдания, от которых хотелось бы видеть человечество избавленным, и резкие слова зрелого возраста в старости хотелось бы вычеркнуть.

...Небо ясно,
Под небом места много всем,
Зачем всечасно и напрасно
Враждует человек... Зачем?
(Лермонтов)

Итак, вот что записано бывшим председателем по
делу Засулич 45 лет тому назад.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

6 декабря 1876 года, прилегли отдохнуть перед обедом у себя в кабинете, в доме Министерства юстиции на Малой Садовой, я был вскоре разбужен горько-удушливым запахом дыма и величайшею суматохою, поднявшеюся по всему огромному генерал-прокурорскому дому. Оказалось, что в канцелярии от неизвестной причины (день был воскресный) загорелись шкафы, и пламя проникло в верхний этаж. Горел пол в кабинете помощника правителя канцелярии Корфа и начинал прогорать и у меня, в обширной пустой комнате, которая называлась у моего предместника по должности вице-директора А. А. Сабурова «детской».

На внутренней лестнице толпились испуганные чиновники, курьеры; вскоре показались во всех углах пожарные, пришел встревоженный министр, граф Пален, мелькнула фигура градоначальника Трепова. Опасность была устранена очень быстро. Пожарные действовали мастерски, и Пален, в порыве великодушия, на казенный счет велел им выдать 1000 рублей серебром в счет скудных остатков по Министерству юстиции за сметный год. Из этой же суммы было почерпнуто и пособие, тоже в одну или полторы тысячи,

на поправление сгоревшего кабинета барона Корфа, хотя и до, и после пожара этот кабинет неизменно состоял из дрянной сборной мебели, двух-трех старых столов и бесчисленного количества папиросных мундштучков всех форм и величин, лежавших на них.

Еще не утихли беготня и беспорядок в моих комнатах и на прилегающих лестницах, еще у меня в кухне старались привести в чувство захлебнувшегося дымом пожарного, как Пален прислал за мною, прося прибыть немедленно. Я застал у него в кабинете: Трепова, прокурора палаты Фукса, товарища прокурора Поскочина и товарища министра Фриша. Последний оживленно рассказывал, что, проходя час тому назад по Невскому, он был свидетелем демонстрации у Казанского собора, произведенной группой молодежи «нигилистического пошиба», которая была прекращена вмешательством полиции и народа, принявшегося бить демонстрирующих... Ввиду несомненной важности такого факта в столице, среди бела дня, он поспешил в министерство и застал там пожар и Трепова, подтвердившего, что кучка молодых людей бесчинствовала и носила на руках какого-то мальчика, который помахивал знаменем с надписью: «Земля и воля». При этом Трепов рассказал, что все они арестованы — один сопротивлявшийся был связан — и некоторые, вероятно, были вооружены, так как на земле был найден револьвер. То же повторили Фукс и Поскочин, приступившие уже к политическому дознанию по закону 19 мая 1871 года.

Пален после обычных «охов» и «ахов», то заявляя, что надо зачем-то ехать тотчас же к государю, то снова интересуясь подробностями, спросил наконец Фриша и меня, как мы думаем, что следует предпринять? Во-

прос был серьезный. Министр был в нерешительности и подавлен непривычностью неожиданного события, а Трепов, который, конечно, в тот же день и, во всяком случае, не позже утра следующего дня стал бы докладывать государю, и притом в том смысле, как бы на него повлияло совещание у министра юстиции, ждал и внимательно слушал. Революционная пропаганда впервые выходила на улицу, громко о себе заявляя, и сохранить по отношению к ней хладнокровие и спокойную законность значило проявить не слабость, а силу и дать камертон всем делам подобного рода на будущее время. Я ждал ответа Фриша с тревогою, зная по многократным прежним опытам, что для удержания Палена от необдуманного или поспешного и произвольного шага на него надежда плохая. «Что делать?» — сказал Фриш, и, медленно оглянув всех своим холодным, стальным взглядом, он приподнял обе руки, сжал их указательные и большие пальцы и, быстрым движением отдернув одну от другой книзу, как будто вытягивая шнурок, сделал выразительный щелчок языком... «Как? — невольно вырвалось у меня. — Повесить? Да вы шутите?!» Не отвечая мне, он наклонил голову по направлению к Палену и сказал спокойно и решительно: «Это — единственное средство!» Прирожденная порядочность и сердечная доброта Фукса проступили сквозь тину слепого усердия по политическим дознаниям, в которую он погрузился, к счастью, лишь на время, и он, растягивая слова и выражаясь, по обыкновению, запутанно, стал, однако, протестовать против такого взгляда. Пален взглянул на меня вопросительно, и я сказал, что для меня это дело так еще неясно, что даже и начатие дознания по закону 19 мая кажется

мне преждевременным. То, что произошло на Казанской площади, представляется нарушением порядка на улице, по которому следует предоставить полиции произвести обыкновенное расследование. Если обнаружатся признаки политического преступления, то никогда не поздно передать дело жандармам. Все арестованы, вещественные доказательства взяты, следовательно, правосудие и безопасность ничего потерять не могут, а общественное спокойствие и достоинство власти только выиграют, если дело не будет преждевременно раздуто до несвойственных ему размеров. Что же касается до взгляда Фриша, то я думаю, что он не говорит и не думает в данном случае серьезно... Фукс и Поскочин стали доказывать, что дознание уже начато, а Фриш холодно сказал: «Я уже высказал свое мнение: оно основано на статье Уложения о наказаниях». Пален, видимо не разделяя его мнения, опять поохал и поахал; по обыкновению, с детскою злобою в лице назвал участников демонстрации «мошенниками» и, ни на что не решившись, отпустил нас...

Этот день был во многих отношениях роковым для многих из нас, и, в сущности, из всех связанных с ним последующих событий один лишь Фриш выбрался благополучно. И вот ирония судьбы: Фуку, смутившемуся предложением Фриша и бывшему всегда по совести противником смертной казни, пришлось через четыре с половиною года подписать смертный приговор Желябову, Перовской и их товарищам и все-таки вызвать против себя упреки свыше «за неуместную мягкость», выразившуюся в том, что он позволил уже признанным виновными подсудимым поговорить между собою на скамье подсудимых, покуда особое присутствие писало неизбежную резолюцию о лишении

их жизни через повешение. А Фриш через пять с половиною лет, забыв свое многозначительное «щелканье», подписал журнал Комиссии по составлению нового Уложения о наказаниях, в котором приводились всевозможные доводы против смертной казни, и хотя она и удерживалась ввиду исключительных обстоятельств для особо важных политических преступлений, но мудрости Государственного совета коварно и лукаво предоставлялось разделить взгляды Комиссии и отменить смертную казнь и по этим преступлениям, а, идя со мною за гробом М. Е. Ковалевского через шесть лет, он же доказывал, что казнь «мартистов» была политической ошибкою и что Россия не может долго существовать с тем образом правления, которым ее благословил Господь... *Tempora mutantur!*¹

Демонстрация 6 декабря 1876 года, совершенно беспочвенная, вызвала со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение, а со стороны «народа» — кулачный отпор. Извозчики и приказчики из лавок бросались помогать полиции и бить кнутами и кулаками «господ и девок в платках» (пледах). Один наблюдатель уличной жизни рассказывал Боровиковскому про купца, который говорил: «Вышли мы с женою и дитею погулять на Невский; видим, у Казанского собора драка... я поставил жену и дите к Милютиным лавкам, засучил рукава, влез в толпу и — жаль, только двоим и успел порядком дать по шее... торопиться надо было к жене и дитю — одни ведь остались!» — «Да кого же и за что вы ударили?» — «Да кто их знает кого, а только как же, помилуйте, вдруг вижу, бьют: не стоять же сложа руки?! Ну, дал

¹ Времена меняются! (*лат.*)

паза два кому ни на есть, потешил себя — и к супруге...» *«Si non è vero, è ben trovato!»*¹

Но в истории русских политических процессов демонстрация эта играет важную роль. С нее начался ряд процессов, обращавших на себя особое внимание и окрасивших собою несколько лет внутренней жизни общества. Громадный процесс по жихаревскому делу еще только подготавливался, а процессы о пропаганде, или, как они назывались даже у образованных лиц из прокуратуры, «о распространении пропаганды», велись неслышно, без всякого судебного «спектакля», в Особом присутствии Сената. Это были отдельные, не связанные между собою дела о чтении и распространении «вредных книг» вроде «Сказки о четырех братьях», «Сказки о копейке» или «Истории французского крестьянина», очень талантливо переделанной из романа Эркман-Шатриана. В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего «образа мыслей», в деле же о преступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее «образ действий».

Эти отдельные процессы не привлекали ничьего внимания, кроме кружка юристов, среди которых иногда ходили слухи, что первоприсутствующий Особого присутствия с 1874 года сенатор Александр Григорьевич Евреинов ведет себя весьма неприлично — раздражительно, злобно придираясь к словам подсудимых и вынося не в меру суровые приговоры. Слухи эти были не лишены основания. Сухой, изможденный старик, с выцветшими глазами и лицом дряхлого сатира, Евреинов представлял все задатки «судии

¹ «Если это и неверно, то хорошо придумано!» (ит.)

неправедного», пригодного для усердного и успешного ведения политических дел. Я помню, что раз, летом 1875 года, я встретил его утром на петергофском пароходе, шедшем в Петербург. «Вот еду судить этих мерзавцев, — сказал он мне, — опять с книжками попались, да так утомлен, что не знаю, как и буду вести дело. Вчера государю было угодно потребовать институток Смольного института в Петергоф, ну и я, как почетный опекун, должен был с ними кататься и всюду разъезжать, а потом после обеда в Монплезир приехал он с великими князьями и приказал институткам танцевать, шутил, дарил им конфеты и т. д. Пришлось все время быть на ногах, а тут еще сам подходит ко мне и с улыбкой спрашивает: “А ты, старик, что же не идешь плясать?” Я отвечаю: “Прикажете, государь, и я танцевать стану!” — “Нет, не нужно”, — милостиво ответил мне он. А тут вот это дело — суди эту сволочь, уж где мне после вчерашнего-то дня!»

Но, как бы то ни было, процессы эти велись как-то особо от хода всей судебной жизни и нимало на нее не влияли. Совершенно иначе дело стало с 6 декабря. Во-первых, оно пошло ускоренным путем, ибо к нему уже был применен возмутительный в процессуальном смысле порядок, по которому дознание уже не обращалось к следствию, а прямо вело к судебному рассмотрению, то есть ставило человека на скамью подсудимых без предварительного исследования его вины компетентными лицами и узаконенными способами. Этот порядок был принят по настоянию Палена, которому наскучило долгое производство следствий по политическим делам и которому Фриш указал на 545-ю статью Устава угол. суд-ва, по-видимому воздержавшись от указания на то, что отсутствие следствия

в общем порядке судопроизводства связано с обсуждением дела в двух инстанциях по существу и с обвинениями, не влекущими даже ограничения прав состояния; здесь же дело разбиралось в одной инстанции и могло влечь за собою даже смертную казнь. Тщетно боролся я против этого явного нарушения основных начал уголовного процесса. Когда никакие словесные убеждения не помогли, когда Пален упорно стоял на своем, твердя на мои разъяснения, что нечего этим негодяям давать гарантии двух инстанций, и приказал наконец начальнику уголовного отделения представить ему отношение к шефу жандармов относительно введения такого порядка, без сомнений для последнего очень желательного, я написал ему письмо, в котором всячески доказывал вред и полную незаконность предполагаемой меры. Дня через два Пален, при моем докладе, сказал: «Я очень вам благодарен за ваше письмо, хотя я с ним все-таки не согласился и уже вошел в соглашение с шефом жандармов, но оно заставило меня еще раз обдумать вопрос — быть может, я и не прав, но я вынужден на такую меру; все эти Крахты и Гераковы (члены палат, производившие следствия по политическим делам) надоели мне ужасно, я не хочу больше иметь с ними дела, а ваше письмо я прикажу приложить к производству: пусть оно останется как след вашего протеста». Но я взял это письмо из дела и прилагаю к настоящей рукописи как один из многих знаков бесплодной борьбы за право и законность с этим тупым человеком¹.

Во-вторых, был назначен другой первоприсутствующий, Тизенгаузен, человек живой и энергический,

¹ См. приложение I.

и дело было пущено уже в январе в зале заседаний окружного суда при искусственно возбужденном интересе. Процесс окончился осуждением почти всех обвиняемых, и в том числе в качестве главного виновного студента С.-Петербургского университета Боголюбова, который был приговорен к каторге.

Процесс этот имел в числе своих последствий один трогательный эпизод. Вскоре по произнесении приговора в числе прочих и над неким воспитанником Академии художеств Поповым, личностью весьма малосимпатичною во всех отношениях, присужденным к поселению в Сибири, ко мне явилась девушка калмыцкого типа, с добрыми, огромными навывкате черными глазами и румяным широкоскулым лицом — нечто вроде Плевако в юбке — и принесла письма от секретаря цесаревны Оома, в котором тот просил от имени цесаревны содействия удовлетворению ходатайства г-жи Товбич. Так звали эту девушку. Ходатайство состояло в разрешении обвенчаться с Поповым до его отправления в Сибирь, так как она желала следовать за ним в качестве жены. Просьба была настойчивая и слезная, и контуры стана просительницы показывали, что эта настойчивость имеет свои основания. Я обещал выхлопотать разрешение у Палена, который не допускал прокурора палаты самого разрешать такие вопросы, и вместе с тем просил Оома написать ему официальное отношение. Но у Палена я встретил неожиданный и яростный отказ. Он кричал, что это «все — девки!», что он не намерен «содействовать разврату» и т. п. Пришлось утешать слабыми надеждами Товбич, которая трепетала, как птица в клетке, и овладеть Паленом путем нескольких периодических атак. Наконец он сдался на то, чтобы